**И.А.Ильин. Аксиомы религиозного опыта**

Из главы 25. ПРИОБЩЕНИЕ СВЕТУ

Последнее, доступное человеку приобщение Свету, осуществляется в акте его земной жизни – в "умирании". Рождение и смерть – два исключительных мига в жизни человека: они переживаются каждым из нас один единственный раз и притом так, что никому из нас не дано включить эти акты в их настоящем духовном смысле в состав нашего религиозного опыта. Начало моей земной жизни таково, что я еще не в состоянии пережить его силами моей сознательной духовности: я не помню моего рождения, я знаю о нем лишь от других и мне всегда кажется, что "меня тогда еще не было". Конец же моей земной жизни таков, что я буду уже не в состоянии включить его в мою сознательно-духовную земную жизнь, ибо "меня, земною, тогда уже не будет". Мне неизвестно, где и когда я "начался", ибо мои первые детские воспоминания-проблески относятся к гораздо более позднему времени; и мне неизвестно, когда и где я "окончусь", ибо все то, что я могу заранее знать о моей грядущей земной кончине, я способен только предвосхитить духовно-религиозным созерцанием. И вот, это созерцание и удостоверяет меня в том, что моя смерть будет моим последним на земле приобщением к Божественному Свету.

Земная смерть прекращает органическую самодеятельность моего одушевленного тела и отнимает у моего духа возможность пользоваться им, как своим выразительным знаком и действующим орудием; но она не угашает моего духовного бытия.

Уже при жизни я имел разностороннюю и полную возможность удостовериться в том, что мой дух не телесен: он не только не совпадает с телом по способу бытия (ибо он не протяженен, не пространствен, не имеет ни анатомического и биохимического состава, ни физиологических функций, не подлежит огню и воде, не испытывает нервной боли и т.д.), но умеет хранить свою самостоятельность и независимость от тела и способен даже повелевать ему. Так, пребывая в телесных лишениях, человек способен сохранить ясность и веселие духа. Испытывая мучительную и длительную боль, человек может силой духовной любви и воли отвлекаться от нее и творить, создавая в искусстве или философии легкие, изящные, певучие и глубокомысленные творения. А отшельники подвергают себя голоду, холоду и всяческому воздержанию именно для того, чтобы усилить свой духовный подъем и укрепить свою молитвенную сосредоточенность.

Итак, дух живет во плоти, но не совпадает с ней, не подчиняется ей и не разделяет ее земную судьбу. Ему дано пользоваться ею, чтобы осуществлять в ней и ею – свое освобождение от нее.

Я могу удостовериться также, что мой дух, ведя до известной степени душевную жизнь, отнюдь не совпадает и с нею и не исчерпывается ею; что он способен утверждать свою независимость от инстинктивных влечений, регистрируя их, расценивая их, повелевая им и пресекая их своеволие; что он может господствовать над своими душевными состояниями; что он властен видоизменять и обновлять душевное и телесное строение своих жизненных актов.

Так, сознание есть состояние душевное; оно ежедневно прерывается сном, иногда даже по нескольку раз в день. Но духовность человека сохраняет свое единство на протяжении жизни и обычно даже освобождается от этих психических перерывов; а есть люди, таинственно соблюдающие и даже освобождающие силу духа именно во сне. Человек, страдающий мигренью и теряющий во время припадка власть слова, или при более сильной спазме сосудов утрачивающий совсем способность наполнять слова соответствующим им смыслом, а иногда даже погружающийся в полное бессмыслие, сохраняет при этом в неприкосновенности свое духовное самочувствие, весь свой духовный уклад, все свои, временно неосуществимые, духовные дары; мало того, он тем спокойнее и терпеливее переносит эти удручающие и мучительные припадки, чем увереннее он осязает или даже созерцает в это время духовный огонь своей Купины. Душевное "выпадение" отнюдь не есть духовное "выпадение", и судьба личной души не определяет путь личного духа. Духу человека дана власть над его душой, власть самовоспитания, самоусовершенствования и самоосвобождения; власть укреплять свою совесть, приучать себя к бескорыстной духовной любви, облагораживать свой вкус, воспитывать в себе чувство ответственности, правосознания и мужество, приобретать силу молитвы и чистоту помыслов. Словом – дух есть высшая и субстанциальная сила в человеке, определяющая судьбу личного тела и личной души, но не подчиняющаяся их земной судьбе.

Именно отсюда у человека возникает притязание на духовную жизнь после земной смерти; и притязание это является обоснованным.

Тело есть лишь "дверь", а чувственно-земная душа – есть лишь "окно", соединяющее наш дух с остальным миром; но если эта дверь запрется и это окно закроется, то означает ли это, что наш дух прекращает свое бытие? Ему даны были эти доступы к внешнему миру со всем его богатством форм и живых смыслов, и к миру человеческих духов со всей его глубиной, окрыленностью и грешностью – для пробуждения, научения, любви и очищения. И вот, он совершил свой путь – и эти доступы у него отнимаются. Но разве он сам сводился целиком к этим доступам? И разве приобретенное им богатство постижении и способностей, разве энергия его бытия и его творчества, разве все это главное и субстанциальное существо его – было телесным, или чувственно-земным, или животно-инстинктивным? По смерти распадается тело и перестает проявляться через него душа. Но дух и при жизни не сводился к ним и не исчерпывался ими, они были лишь его орудием, его скорлупой, его ладьей, его временно-земным жилищем. И человек, убедившийся в этом при жизни, личным и самостоятельным, духовным и творческим опытом, не захочет даже и обсуждать слепорожденный вопрос о возможной смертности личного духа.

Первое, что открывает нам духовный опыт и в чем он утверждает нас с окончательной очевидностью, состоит в том, что человек есть дух, т.е. нетелесная творческая энергия со своими особенными ценностями и целями, с особыми критериями, с высшими жизненными формами и законами: это законы и формы духовной самостоятельности, свободы и самоосвобождения, достоинства, ответственности, совершенствования, очищения, богосыновства, любви, свободы и бессмертия. Человек, живущий этим опытом, привыкает с полным и удостоверенным основанием почитать себя личной, единственной в своем роде и в своеобразии своем неповторимой "искрой" Божией и утверждать себя в этом достоинстве. Он знает призвание этой "искры" духовно преобразить все свое существо, так, чтобы цельно и художественно осуществить Божию идею (Аристотель сказал бы "энтелехию"), составляющую живую основу ее бытия. Стать художественным произведением Господа – дано, по-видимому, лишь очень немногим; но самое призвание к этому осмысливает для каждого из нас всю нашу жизнь и оправдывает ясновидящее слово Преп. Серафима Саровского: "Господь заботится о каждом из нас так, как если бы он у Него был единственным".

И вот человеку, выносившему такой духовный опыт, кажется странной и нелепой сама мысль о том, что лично-оформленная искра Божия может исчезнуть вместе с разрушением ее земного жилища и орудия. Существо, в котором Божия благодать и духовная свобода всежизненно и пожизненно творили, создавая личность, как некое единственное в своем роде "духовно-художественное произведение", не может угаснуть в Божиих пространствах, разлучившись со своим изнемогшим бывшим телом. И странно, что люди, научившиеся путем наблюдений тому, что ни материя, ни энергия мира не исчезают, а только меняют свой способ бытия, утверждают обратное применительно к субстанциальной и благороднейшей энергии духа; этим они только доказывают, что не позаботились о накоплении и удостоверении своего духовного опыта.

Дивное существо, Богом созданное, Его откровением благословенное, Его благодатью поддержанное и вскормленное. Его милостью взысканное, от Него воспринявшее свою способность к свободе и прошедшее путь самосовершенствования – не исчезает в пустоте и ничтожестве, но продолжает осуществлять свое призвание в новой форме бытия. Оно училось на земле созерцать неосязаемые реальности, воспринимать сверхчувственное Совершенство, обходиться с бессмертными Предметами – и тем научилось желать и чаять бессмертия и для себя. Как же может оно принять на веру неосновательное и слепое слово о своей смертности, всецело противоречащее выношенному зрелому опыту? А принять это слово надо именно на веру, ибо доказательств того, что личный дух человека смертен – нет. Если отрицатели бессмертия скажут нам, что они "не воспринимают" этого бессмертного духа, то мы спросим их, неужели же они столь наивны, что считают субъективное невосприятие признаком небытия, и дефект личного опыта критерием предметной реальности? Если уже физика показала нам, что есть звуки, неслышные человеку, и лучи, недоступные его глазу; то духовный опыт прямо начинает с нечувствительных реальностей. И если они сознательно ограничивают свой опыт чувственными восприятиями и предметами, то компетентность их в суждении о нечувственных или по крайней мере чувственно-недоступных предметах оказывается ничтожной. Пока они будут упорно придерживаться границ своего элементарного, узкого и грубого опыта, им невозможно доказать или показать что-нибудь за его пределами; и наивно верить им на слово.

Для человека с духовным опытом – земная жизнь есть духовное подготовление к смерти; смерть же наступает в момент духовной зрелости; и конец земного странствования есть рождение к сверхземной жизни.

Перспектива смерти учит человека "беречь "день" (carpe diem), жить достойно, из глубины, созерцать лучшее из сущего, радоваться всякому совершенству, богатеть духовным опытом, благодарить и радоваться полученным дарам. Такой человек всю жизнь зреет: он созревает к часу своего земного отозвания и это чувство своего духовного созревания дает ему, – сначала предчувствие, а потом уверенность, что смерть настигает человека не случайно, а "кульминативно", т.е., что всякий из нас отзывается в тот момент, когда он (вопреки всем человеческим видимостям и мнениям) достигает наибольшей доступной ему на земле, в его обличий духовной зрелости и высоты. Тогда ему дается угаснуть на земле и возгореться в сверхземных "пространствах" Божиих; закрыть утомленные глаза и открыть по-новому освобожденные очи духа; сбросить с себя телесную ткань и принять новую форму бытия. Иными словами по-новому приобщиться Свету Божиему, слабым прообразом и предчувствием которого был свет земного солнца.

Именно эта уверенность определяет религиозное отношение человека к смерти: она не может и не должна зависеть от личного произволения самого человека. Ибо человек должен духовно созреть к великому переходу в иное бытие (по Аристотелю – γένοσ"), а судить о своей зрелости ему не дано. И человек άλλο είσ "μετάβασισ должен быть отозван своим Жизнедателем, единственно ведающим степень его личной зрелости. Здесь тайна духового организма и таинство Божьего решения соединяются для того, чтобы погасить субъективный произвол и внушить человеку религиозный ужас и художественное отвращение к самоубийству.

Смерть должна быть духовным увенчанием жизни. Она должна явиться таким "концом", в котором уже сияло бы начало нового восхождения. Она должна быть последним шагом земного очищения, последним духовным испытанием и возрастанием человека, последним вопросом духовного познания и духовной любви, обращенным к Богу. Тогда она становится и последним земным приобщением человека к Свету.

Из Главы 26. О ВЛАСТИ ДУХА

…Религиозная очевидность, раз овладевшая личной купиной – ставит вопрос о всей жизни и о самой жизни. Она создает окончательное прикрепление души к Богу и человек испытывает духовную невозможность жить вне этого прикрепления. С утратой этих предметных содержаний жизнь его превращается в пустыню, в могилу, лишается смысла, перестает быть жизнью: ибо она святится, осмысливается и животворится ими. Лишившись их, религиозный человек – или погибнет в борьбе за их восстановление, или угаснет от духовного и душевного опустошения. Одна мысль о возможности их лишения, или тем более, их уничтожения заставляет его в мысли, в чувстве и в волевом решении предпочесть борьбу на смерть.

Этой перспективой, этим выбором и предпочтением человек может и должен измерять подлинность и силу своей религиозности. Он должен спрашивать себя: "пойду ли я за это на смерть? дороже ли оно мне самой жизни? лишение этого – означает ли утрату безусловного центра моей жизни, без которого моя жизнь станет нелепа и невозможна? отказ от этого – не будет ли для меня религиозным предательством и духовным самоубийством?" – Ибо религиозный центр духа есть то самое, что Державин называл: "душа души моей": самое подлинное, глубокое и всепроникающее средоточие личной жизни, за которое нельзя не идти на смерть. Верность ему указывает один, единственный путь, естественный, необходимый, даже не допускающий выбора, но спокойно созерцаемый и осуществляемый в его единственности. Именно из этой религиозной глубины произнесены евангельские слова: "иже аще взыщет душу свою спасти, погубит ю, и иже аще погубит ю, живит ю" (Лук. 17, 33). Кто захочет жить во что бы то ни стало, любой ценой, тот отречется от своего религиозного центра, от Бога и от собственного духовного достоинства, погубит свое духовное начало и перестанет быть духом; пренебрегающий же своей жизнью во имя Божьего дела спасет свой дух ценой пренебреженной жизни. Именно в этом смысл истинного "самоотречения" и "самопожертвования": то, от чего "отрекается" религиозный человек в своей религиозной борьбе, не есть "он сам". "Он сам" – это "он в Боге", это его религиозный центр, это его купинно-духовное естество и достоинство; от этого он совсем не отрекается; он отрекается не от этого, а от безрелигиозного, бездуховного прозябания на положении предателя; и другое только по недоразумению называют это "жизнью" и "душой". Но он даже и не "жертвует" этим, ибо в "жертве" есть еще колебание, жалеющая жадность, преодолеваемая усилием и отрывом; а религиозный герой, – исповедник, мученик, борец, "воин Божий", – отдает эту невыносимую и постыдную видимость жизни с той естественной легкостью, с какой падает с ветки созревший плод.

Это чувствовали когда-то и древние римляне, говоря; "vincere necesse est, vivere non est necesse..."

Далее, религиозная очевидность измеряет не только силу личной веры идеей смерти, но и самую ценность жизненного содержания и верность жизненного делания. Стоя перед лицом своей религиозной купины, человек чувствует себя стоящим перед лицом Божиим, и это стояние научает его тому, что жизненные содержания имеют свой религиозный ранг, что жизненные ценности объективно-неравноценны, что человеческие цели имеют свою духовную градацию. Не все в жизни имеет одинаковую духовную ценность; не всем безразлично стоит жить.

Жить стоит только религиозно-верным, только безусловно-ценным, только центрально-оправданным, только бого-оправданным. Или, обращаясь к идее смерти: жить стоит только тем, за что стоит бороться даже до смерти и отдать свою жизнь. Тем, за что не стоит умереть, тем не стоит и жить. Цена жизни и смерти дает нам последнее мерило для жизненных содержаний.

Смерть гасит все и всякие земные "содержания". Отказаться от всего имеет смысл только ради того, что выше, драгоценнее, священнее всего остального, что составляет религиозную святыню жизни. А если человек утвердит свой религиозный центр в том, что этого не заслуживает, то критерий смерти быстро обнаруживает его ошибку. Все недуховные блага, начиная от богатства и кончая почестью и властью, таковы, что за них умирать нет смысла: они исчерпываются личной жизнью, они кончаются вместе с ней; они могут быть обозначены, как земные видоизменения личной жизни. И вот нелепо отдавать главное за второстепенное, родовое за видовое, субстанцию за акциденцию, зерно ореха за скорлупу. Отдать свою жизнь стоит только за то, что любишь больше себя: мать отдает ее за своего ребенка, патриот за свою родину, духовный человек за свою духовную свободу, верующий за свою святыню. Любить больше себя стоит только то, что действительно больше и ценнее индивидуальной жизни; а таково только Божие дело на земле во всех его видах и изменениях.

Поэтому тот, кто живет этим делом – прав и в критический час будет готов отдать акциденцию за субстанцию и скорлупу жизни за ее священное зерно.